

18+

САРАНХЭ · СЕМЬ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ
КНИГА ПЕРВАЯ

Голос и глина

СТЕЛЛА ПОЛЯКОВА

Стелла Полякова

**Голос и глина. Саранхэ — семь
историй любви. Книга первая**

«Издательские решения»

Полякова С.

Голос и глина. Саранхэ — семь историй любви. Книга первая /
С. Полякова — «Издательские решения»,

«Тайная жизнь» лидера группы, которая собирает стадионы от Сеула до Нью-Йорка, скрыта за охраной, расписанием и образом, который принадлежит миллионам, — но одна случайная встреча в токийском аэропорту грозит обнажить то, что он скрывал даже от самого себя. Мир К-рор послужил вдохновением для создания этой истории, однако все события и герои существуют исключительно на страницах романа.

© Полякова С.

© Издательские решения

Содержание

Глава первая	6
Токийский дождь	6
Глава вторая	11
Место 3А	11
Глава третья	16
5:30 утра	16
Глава четвёртая	22
Галерея	22
Глава пятая	28
Глина	28
Глава шестая	33
Камбэк	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Голос и глина Саранхэ — семь историй любви. Книга первая

Стелла Полякова

© Стелла Полякова, 2026

ISBN 978-5-0070-5950-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая

Токийский дождь

Дождь начался ещё в три часа дня — неожиданно, как всё, что происходит в Токио в конце октября. Сначала просто потемнело небо, затем по стеклянным стенам аэропорта Ханэда потекли косые струи, и диктор на двух языках объявил то, чего никто не хотел слышать: вылеты задержаны на неопределённое время.

Ли Со Ын даже не подняла голову.

Она сидела в дальнем углу общего бизнес-зала — там, где кресла стоят чуть поодаль от общего пространства, почти за колонной, почти невидимо. Она умела находить такие места. В любом аэропорту мира, в любом ресторане, на любом вернисаже она безошибочно отыскивала угол, из которого можно смотреть на всё сразу и при этом оставаться незамеченной.

На коленях лежал альбом для эскизов — потёртый, с загнутыми уголками и пятном от кофе на обложке. Карандаш лежал рядом, нетронутый.

Со Ын смотрела на чистый лист и думала о том, что чистый лист — это издевательство. Художнику нужна пустота, говорили ей в университете. Пустота — это начало, пустота — это возможность. Профессор Чхве, маленький сухой человек с вечно испачканными охрой руками, повторял это каждый семестр, и Со Ын тогда кивала и думала, что понимает. Теперь она смотрела на свою пустоту уже шесть месяцев и понимала, что не понимает ничего.

Пустота — это не начало. Пустота — это просто пустота.

За окном самолёты стояли неподвижно под косым дождём, как огромные серые птицы, которым кто-то сказал: стоп. Токио за взлётной полосой исчез в молоке низких туч — ни огней, ни горизонта, только вода и серость, сливающиеся в одну сплошную пелену.

Со Ын закрыла альбом.

Мама позвонила утром — Со Ын не взяла трубку. Позвонила снова через час — Со Ын выключила звук. Это был не бунт и не обида, просто усталость от разговоров, которые всегда начинались словами «мы с папой беспокоимся» и заканчивались словами «может, стоит вернуться в семейный бизнес хотя бы на время». Родители не понимали — не потому что были злыми, а потому что деньги для них были решением всего. Проблема с работой? Деньги решат. Проблема с тем, что руки больше не чувствуют глину, что внутри что-то сломалось и не хочет чиниться? Наверное, тоже деньги. Может быть, хороший психолог. Может быть, поездка в Швейцарию.

Со Ын уехала в Токио.

Не потому что ждала от Токио чего-то особенного, а просто потому что это был другой воздух, другой язык за окном, другие лица в метро — люди, которые не знали её фамилии, не знали, что её отец владеет тремя строительными концернами и двумя торговыми центрами, не смотрели на неё тем особым взглядом, который она научилась узнавать с детства. Взгляд оценки. Взгляд расчёта. Взгляд «интересно, как это можно использовать».

В Токио на неё смотрели просто как на туристку с потрёпанным альбомом, и это было почти счастьем.

Две недели она ходила по музеям, сидела в маленьких кофейнях района Янака, разглядывала чужие скульптуры с профессиональным интересом и тайной надеждой, что что-то внутри наконец откликнется. Не откликнулось. Она уезжала ни с чем — с пустым альбомом и билетом домой.

И вот теперь — дождь, задержка, чистый лист. Всё то же самое, только в другом аэропорту.

Зал понемногу наполнялся тихим гулом недовольства. Где-то позади женщина звонила и объясняла кому-то, что не успевает на пересадку; маленький мальчик капризно требовал у матери ещё сока. Со Ын не слышала ни того ни другого — она умела выстраивать вокруг себя тишину, как стеклянный купол, и эту способность оттачивала все двадцать шесть лет жизни в семье, где всегда было много людей и мало пространства для себя.

Купол дал трещину неожиданно — когда у неё закружилась голова.

Несильно. Просто всё качнулось разом — кресла, окна, дождь снаружи. Со Ын поняла, что не ела со вчерашнего вечера: последним, что было, — рисовые крекеры из автомата в токийском отеле. Она встала медленно, держась за спинку кресла. Ничего страшного, сказала она себе. Просто нужно найти бар, съесть что-нибудь горячее, и всё пройдет.

В бизнес-зале еды было достаточно — столики с закусками, корзины с хлебом, аккуратно расставленные блюда. Со Ын прошла мимо всего этого, не заметив, потому что думала о другом: о том, что в Сеуле снова придётся отвечать на звонки, снова улыбаться на галерейных встречах, снова объяснять, почему новых работ нет. Ноги сами несли её куда-то вдоль коридора, мимо стеклянных перегородок и одинаковых дверей.

Одна из дверей оказалась незапертой.

Со Ын толкнула её не думая — просто потому что та была ближе всех, — и шагнула внутрь.

Это был не бар.

Это была отдельная комната, небольшая, но устроенная с той особой продуманностью, которая всегда стоит денег: мягкий диван вдоль стены, низкий столик с фруктами и несколькими закрытыми блюдами, торшер, дающий тёплый свет, отдельное окно с видом на дождь и лётное поле. На столике стоял раскрытый ноутбук, рядом лежали наушники и телефон, а чья-то куртка была брошена на спинку кресла.

Чья-то — потому что комната была не пуста.

У окна стоял мужчина. Он смотрел на дождь спиной к двери — высокий, в светло-сером свитере, с чуть опущенными плечами человека, который наконец-то позволил себе не держать осанку. В одном ухе — наушник, второй болтался на проводе. Он не слышал, как открылась дверь.

Со Ын остановилась.

Она поняла свою ошибку мгновенно — не та дверь, чужое пространство, нужно немедленно уйти, — но в ту же секунду голова закружилась снова, теперь уже всерьёз. Пол под ногами качнулся. Она успела сделать полшага назад и схватиться за дверной косяк — и не успела больше ничего.

Мужчина у окна обернулся на звук.

Он увидел её в то самое мгновение, когда она замерла на пороге, — невысокая, в простых джинсах и мешковатом бежевом свитере с рукавами, натянутыми на ладони. Никакого багажа. Руки пустые — ни чемодана, ни сумки через плечо, даже телефона нет, только потёртый альбом, зажатый под локтем привычным жестом, каким носят то, что всегда при себе. Взгляд рассеянный, направленный чуть мимо него, — взгляд человека, который зашёл и сразу понял, что что-то не так, но ещё не успел сообразить, что именно.

Первая мысль была быстрой и неточной: персонал. Зашла не с той стороны. Сейчас поймёт и уйдёт.

— Эта комната занята, — сказал он. Не грубо, просто констатация, тоном, который не требует уточнений, — и уже отворачивался к окну.

Она не ответила.

Он обернулся снова — и успел в последний момент: девушка сползала по дверному косяку с выражением искреннего удивления на лице, как будто сама не ожидала, что это с ней произойдёт.

— Эй! — Он пересёк комнату в три шага.

Никакого ответа. Она уже не слышала его.

Потом была темнота — недолгая, почти мягкая, как бывает, когда засыпаешь на середине фразы. А потом Со Ын услышала голос, говоривший что-то спокойное и ровное, почувствовала чьи-то руки, придерживавшие её голову, и что-то холодное и влажное на лбу.

Она открыла глаза.

Потолок. Мягкий свет торшера. Диван под спиной. Рядом, присев на корточки, сидел мужчина в сером свитере и смотрел на неё с выражением сосредоточенного спокойствия — так смотрят люди, которые умеют не паниковать в неожиданных ситуациях. В руке он держал салфетку, которую прикладывал к её виску.

Со Ын моргнула.

— Добро пожаловать обратно, — сказал он негромко. — Только не поднимайтесь резко.

Она всё же попыталась сесть. Он не остановил её, лишь убрал руку, но следил внимательно, готовый подхватить, если её снова качнёт. Не качнуло.

Со Ын огляделась. Чужая комната, чужой диван. Альбом лежал рядом на столике — кто-то поднял его с пола.

— Я не туда зашла, — сказала она.

— Да, — согласился он просто. — Но это сейчас не важно.

— Извините. — Она поставила ноги на пол. — Я пойду.

— Подождите минуту.

— Я в порядке.

— Вы только что потеряли сознание.

— Это было ненадолго.

Он посмотрел на неё, она посмотрела на него — и повисла пауза, с той особой неловкостью, которая возникает между двумя незнакомыми людьми, когда один из них только что лежал без сознания, а второй держал его голову.

— Вы ели сегодня что-нибудь? — спросил он наконец.

— Немного, — сказала она и сама удивилась своей честности.

Он кивнул с видом человека, которого этот ответ ничуть не удивил, поднялся и пошёл к столику. Открыл одно из закрытых блюд — там оказался рис с овощами, ещё горячий, — налил воды из графина, принёс и поставил перед ней без лишних слов.

— Ешьте. Рейсы всё равно задержаны.

Он вернулся в кресло у окна, снова вставил наушник и открыл ноутбук — с таким видом, будто всё происходящее было совершенно обыденным делом.

Со Ын взяла ложку. Рис был хорошим — просто правильно сваренным, с нужным количеством соли. Она ела медленно, голова понемногу прояснялась, мир переставал качаться, и она начинала думать: кто этот человек, чья это комната и почему он сказал «Эта комната занята» именно таким тоном, каким говорят не гостям, а обслуживающему персоналу.

Последняя мысль зацепилась и не отпускала.

Она прокрутила сцену заново. Он обернулся, посмотрел на неё — и сказал «Эта комната занята». Не «простите, вы, кажется, ошиблись дверью», не «могу я вам чем-то помочь». Именно так — коротко и как будто само собой разумеющееся. Так говорят, когда видят человека, пришедшего что-то принести или убрать.

Со Ын медленно отложила ложку.

Двадцать шесть лет подряд люди смотрели на неё и видели фамилию. Видели отца с его концернами, мать с её связями, деньги, которые стояли за ней, как тень, — неотступно, повсюду. В университете однокурсники дружили с ней осторожно, взвешивая каждое слово. На вернисажах галеристы улыбались ей чуть шире, чем остальным. Незнакомые люди на светских

вечерах запоминали её лицо раньше, чем имя, — потому что имя было Ли, и этого было достаточно. Она устала от этого так давно, что уже почти перестала замечать собственную усталость.

И вот наконец — первый человек, посмотревший на неё без всего этого. Посмотрел и увидел: девушка в мешковатом свитере. Персонал.

Это должно было её обрадовать. По всей логике — обрадовать. Она ведь именно этого и хотела: чтобы её видели без ярлыков, без фамилии, просто как человека.

Но одно дело — быть невидимой, и совсем другое — быть принятой за того, кто пришёл поменять полотенца.

— Вы подумали, что я персонал, — сказала она. Не спросила — констатировала.

Он оторвался от ноутбука и посмотрел на неё спокойно, без попытки уйти от ответа.

— Да, — сказал он. — В первую секунду. Потом вы упали, и это перестало иметь значение. Извините.

— И что именно в моём виде навело вас на эту мысль? — спросила она ровно.

Он помолчал, потом ответил с той же прямоотой, с какой она задавала вопрос:

— Свитер. Отсутствие багажа. И вид человека, который зашёл по делу, а не отдыхать.

— Я всегда так одеваюсь.

— Я понял. — Он снова посмотрел на неё. — Это хороший свитер.

Со Ын не сразу поняла, что он совершенно серьёзен. Ни иронии, ни попытки сгладить неловкость светской болтовнёй — просто констатация факта, спокойная и необъяснимо искренняя.

Что-то расслабилось у неё где-то в районе солнечного сплетения. Не то чтобы обида прошла — это и обидой-то было не совсем, скорее раздражением на саму ситуацию, на её нелепость. Просто стало немного смешно. Она не улыбнулась — она редко улыбалась незнакомым людям, — но напряжение в плечах отпустило.

Он, кажется, заметил это. И засмеялся — коротко, искренне, с тем лёгким присвистом на выдохе, который совершенно не вязался с атмосферой дорогой VIP-комнаты. Это был смех человека, который смеётся не ради того, чтобы понравиться, а просто потому что ему действительно смешно.

— Меня зовут Хан Джэ, — сказал он.

— Ли Со Ын, — ответила она.

Они не пожали друг другу руки — просто обменялись именами, как два человека в аэропорту, которым некуда торопиться.

Со Ын снова взяла ложку. За окном гроза набирала силу, самолёты по-прежнему стояли, и рейс на Сеул откладывался всё дальше и дальше. Мужчина напротив вернулся к ноутбуку, и в его профиле было что-то усталое и очень спокойное — так выглядит человек, привыкший к большим расстояниям и умеющий ждать.

Она посмотрела на него внимательнее — так, как смотрит скульптор, мысленно переводя живое лицо в объём, в игру давления и тени. Высокие скулы, прямая линия носа, чёткая форма челюсти. Хорошая структура. Она нечасто думала так о людях.

Потом поняла, что смотрит слишком долго, и отвела взгляд.

— Вы скульптор? — спросил он вдруг, не оборачиваясь.

— Да. Откуда вы знаете?

— Альбом раскрылся, когда я поднимал его с пола. Там были наброски форм. — Пауза.

— И вы только что смотрели на меня как на материал.

— Профессиональная привычка, — сказала она сухо.

— Понимаю, — отозвался он. И, кажется, действительно понял — без иронии, без кокетства, просто приняв это как данность.

Это было неожиданно.

Со Ын доела рис, поставила тарелку на стол и встала. Голова больше не кружилась, ноги держали уверенно.

— Спасибо, — сказала она у двери. — За всё.

— Осторожнее с дверями, — отозвался он. — Не все из них ведут туда, куда думаешь.

Со Ын решила, что это просто слова, и вышла.

Коридор бизнес-зала встретил её привычным гулом. Она прошла несколько шагов и остановилась у окна. Снаружи по-прежнему лил дождь, самолёты по-прежнему стояли, и никто никуда не летел.

Она открыла альбом.

На чистом листе темнели две горизонтальные линии, которые она провела ещё раньше. Со Ын взяла карандаш и, не думая, добавила вертикальную. Потом ещё одну — косую, наискосок. Четыре линии. Что-то начиналось — она сама ещё не знала что.

Глава вторая

Место 3А

Борт вылетал в начале восьмого — с опозданием почти на четыре часа. К тому моменту дождь немного утих, лётное поле потемнело и намокло, а огни взлётной полосы отражались в лужах жёлтыми размытыми пятнами. Токио прощался некрасиво — в серой мокрой темноте, без единого театрального жеста.

Хан Джэ поднялся на борт первым.

Так было всегда — приоритетная посадка, отдельный выход, никакой очереди. Менеджер Чхве шёл рядом с планшетом наперевес и тихой скороговоркой перечислял завтрашнее расписание: в девять утра студия и звуковая проверка новых треков, в час встреча с хореографом по второму акту тура, в четыре интервью для японского журнала по видеосвязи, в семь примерка концертных костюмов, потому что Мисон говорит, что у него изменились плечи и нужна корректировка.

— Чхве, — сказал Хан Джэ, не останавливаясь.

— Да?

— Мы ещё даже не взлетели.

Менеджер закрыл планшет. Ненадолго.

Охрана — двое, Кан и Пак — заняла места в первом ряду бизнес-класса. Так тоже было всегда: они словно растворялись в пространстве, становились частью интерьера — два больших молчаливых человека, которые умели быть невидимыми до тех пор, пока не приходило время стать заметными. Хан Джэ привык к этому присутствию настолько, что перестал его замечать, как перестают замечать собственное дыхание.

Он сел у окна, на место 3В.

Соседнее, 3А, было пустым. Он скользнул по нему взглядом и отвернулся к иллюминатору. Снаружи техники в жёлтых жилетах делали последние обходы вокруг самолёта, и их фигуры в темноте и свете прожекторов казались нереальными — будто из тревожного фильма, который смотришь в полусне.

Хан Джэ достал наушники. Он делал это автоматически — в самолёте, в машине, за кулисами перед выходом. Музыка была стеной: выстраиваешь её вокруг себя и можешь не отвечать на вопросы, не ловить чужих взглядов, не быть вежливым — просто существовать внутри звука, который выбрал сам.

Сейчас он не включил ничего. Просто вставил наушники и сидел в тишине. Иногда он так делал — надевал наушники без музыки, чтобы люди думали, будто он занят, и не подходили. Маленький обман, почти невинный.

Три месяца он не был дома. Не в смысле в Сеуле — в Сеуле он бывал, — а именно дома, в квартире, где можно закрыть дверь, лечь на пол и смотреть в потолок.

Он не жаловался. Это был его собственный выбор — тот, что он сделал в восемнадцать лет и с тех пор не отменил ни разу. Просто иногда, вот так, в самолёте посреди ночи, когда Чхве наконец замолкал, он чувствовал усталость — не физическую, а какую-то другую. Усталость от собственного образа, что ли. От необходимости всегда быть Хан Джэ — улыбающимся, остроумным, с правильным смехом в нужный момент. За кулисами его порой спрашивали: ты устал? Он отвечал: нет, всё отлично. Это тоже было частью работы.

Посадка подходила к концу. Он слышал, как в хвосте самолёта шумит поток пассажиров — голоса, шорох одежды, щелчки застёгиваемых багажных полок. Бизнес-класс заполнялся

тише: несколько деловых людей с ноутбуками, пожилая пара, сразу попросившая плед у стюардессы. Место 3А оставалось пустым.

Хан Джэ уже почти решил, что так и будет — что повезло, что можно вытянуть ноги и не думать о соседе, который станет слишком пристально смотреть в его сторону, — когда краем глаза заметил движение.

Она шла по проходу медленно, чуть рассеянно, с альбомом под мышкой и небольшой сумкой на плече. Смотрела на номера рядов с выражением человека, который сначала думает о чём-то своём, а потом спохватывается, что нужно найти место. Мешковатый бежевый свитер. Те же джинсы.

Скульптор.

Он узнал её сразу — не потому что запомнил лицо, хотя запомнил и его, а потому что узнал сам способ двигаться: немного отдельно от общего потока, будто между ней и остальным миром всегда оставалась тонкая прослойка воздуха, которую она хранила сознательно.

Она сверилась с посадочным талоном. Посмотрела на ряд. Подняла глаза — и встрети-лась с ним взглядом.

Секунда узнавания. Потом она просто кивнула — коротко, вежливо, без удивления — и убрала сумку в верхний отсек. Спокойно, будто найти в самолёте человека, у которого только что потеряла сознание, было делом совершенно обыденным.

Он подумал, что она, наверное, из тех людей, которых трудно удивить.

Она села, пристегнулась и открыла альбом прямо на взлёте, не дожидаясь, пока самолёт наберёт высоту. Стюардесса сделала замечание насчёт телефона соседу сзади, но на альбом для рисования правила не распространялись. Со Ын взяла карандаш и начала что-то делать — не рисовать в полном смысле слова, а водить по бумаге медленными, почти бессознательными движениями, как человек, который думает руками.

Хан Джэ смотрел в иллюминатор. Токио уходил вниз — огни, хайвэй, темнота залива, снова огни. Он любил этот момент: когда земля ещё видна, но уже далеко, и всё, что было там, — встречи, слова, чужие лица — становится маленьким и не таким важным. Самолёт был промежутком между. Ни там, ни здесь. Можно на время перестать быть кем-то конкретным.

— Вы лучше себя чувствуете? — спросил он, не оборачиваясь.

— Да. Спасибо, — сказала она.

Помолчали. Это было нормальное молчание — не неловкое, а просто молчание двух людей, которым не нужно заполнять тишину словами.

— Вы всегда рисуете при взлёте? — спросил он через некоторое время.

— Это наброски?

— Не знаю ещё, — сказала она. — Рука решает сама.

Он покосился на её альбом. Несколько линий, пересекающихся, пока без явной формы. Но в них было что-то — направление, может быть. Намерение.

— Помогает?

Она наконец посмотрела на него — тем же спокойным, чуть оценивающим взглядом, который он заметил ещё в комнате.

— Иногда. — Пауза. — Сегодня пока нет.

Он кивнул. Стюардесса предложила напитки — он взял воду, она тоже. Самолёт вышел на крейсерскую высоту, огни Токио исчезли в облаках, и за иллюминатором стало абсолютно черно — только звёзды, далёкие и равнодушные.

— Можно спросить? — сказал он.

— Спрашивайте.

— Альбом. Вы открываете и закрываете его уже третий раз за час. Что именно случилось? С творчеством. Если это не слишком личное.

Со Ын подняла карандаш, посмотрела на линии в альбоме.

— Я перестала чувствовать материал, — сказала она наконец. — Скульптор работает руками, и это не метафора, это физически. Глина, камень, гипс — у каждого свой разговор. И в какой-то момент этот разговор просто прервался. Я беру глину — и ничего. Чужая масса.

— Давно?

— Полгода.

Он помолчал. Потом сказал — не как утешение, а как факт:

— Это долго.

— Да, — согласилась она просто. — Долго.

Он смотрел прямо перед собой. Откидная столешница перед ним была пустой — планшет он не достал, книгу не открыл. Просто сидел.

— У меня было что-то похожее, — сказал он. — Не с руками. С голосом. Не физически — голос-то был. Но однажды я стоял в студии, включили запись, и я понял, что не слышу собственной песни. Слышу звук. Слышу ноты. Но не слышу — её.

Со Ын повернула голову.

— Когда это было?

— Два года назад. Перед большим туром.

— И что вы сделали?

Он чуть усмехнулся — не весело, а как-то внутрь себя.

— Вышел на сцену. Потому что были контракты, и команда, и пятьдесят тысяч человек с билетами. — Пауза. — А потом, странно, прямо на сцене всё вернулось. Посреди второго трека. Я вдруг услышал.

— Почему?

Он подумал.

— Не знаю точно. Может, потому что на сцене нельзя думать — можно только делать. А когда перестаёшь думать, что-то освобождается.

Со Ын смотрела на него внимательно, без спешки. Не так, как смотрят на знаменитостей — с тем особым напряжённым вниманием, в котором всегда есть примесь желания понравиться, — а просто как на человека, сказавшего что-то интересное.

— У скульптора нет сцены, — сказала она.

— Нет, — согласился он. — Значит, нужно найти другой способ перестать думать.

Она ничего не ответила. Снова опустила взгляд на альбом. Карандаш лёг на страницу — и на этот раз рука двигалась чуть увереннее, чуть более намеренно. Он не смотрел, не хотел спугнуть.

Самолёт летел в темноте. Салон успокоился — несколько пассажиров задремали, кто-то смотрел кино в наушниках, стюардессы двигались бесшумно. Чхве, двумя рядами позади, тихо печатал что-то на планшете — расписание на следующую неделю, наверное, или переписку с лейблом. Кан и Пак неподвижно сидели впереди. Жизнь вокруг шла своим ровным ночным ходом.

Хан Джэ почувствовал, как напряжение в плечах — то постоянное, фоновое, которое он уже почти не замечал, — стало чуть меньше. Просто от того, что можно было сидеть вот так: не улыбаясь, не прикрываясь, не будучи Хан Джэ из ONDO. Просто человек в кресле рядом с другим человеком.

Через какое-то время — он не следил за часами — она зевнула. Тихо, прикрыв рот рукой, по-детски.

— Спите, — сказал он. — Лететь ещё больше часа.

— Не хочу спать в самолёте, — сказала она без особой убеждённости.

— Почему?

— Просыпаешься разбитой.

— Зато время проходит.

Она помолчала. Закрыла альбом — осторожно, как закрывают что-то незавершённое, что не хочется тревожить. Откинулась на спинку. Хан Джэ почувствовал, как она чуть сдвинулась — совсем немного, инстинктивно — в его сторону: самолёт слегка качнуло, и её плечо оказалось ближе к его плечу.

Она не отодвинулась. Он тоже.

Это было странно и совершенно просто одновременно. Два незнакомых человека в ночном самолёте над Японским морем. Никакой истории между ними, кроме нескольких часов токийского дождя и одного разговора ни о чём и обо всём. Просто — рядом.

Он понял, что она засыпает, когда карандаш медленно выскользнул из её пальцев и лёг ей на колени. Он подхватил его тихо, не потревожив, и положил на столешницу перед ней. Её голова чуть наклонилась — и через минуту оказалась у него на плече.

Хан Джэ замер. Он попытался вспомнить, когда в последний раз кто-то засыпал рядом с ним вот так — без умысла, не зная, кто он.

Охранник Кан оглянулся назад — проверить. Хан Джэ едва заметно покачал головой: всё в порядке. Кан отвернулся. Чхве, судя по тишине, тоже задремал. Хорошо.

Сейчас не было ни ONDO, ни расписания, ни контрактов — просто кто-то, кто летит домой ночью, и у кого на плече спит незнакомая девушка со скульпторскими руками. Это было почти счастьем.

Он поймал себя на том, что улыбается — не той улыбкой, которую умел включать по необходимости, широкой и правильной, а маленькой, тихой, которую никто не видел.

Самолёт начал снижение над Сеулом уже за полночь.

Он почувствовал это по давлению в ушах — и одновременно почувствовал, как она проснулась. Не резко — просто чуть напряглась, потом поняла, где находится, и медленно, без суеты выпрямилась, подняв голову с его плеча.

Пауза.

— Извините, — сказала она ровно. Без особого смущения — скорее как человек, констатирующий очевидный факт.

— Всё в порядке, — сказал он.

Она забрала со столешницы карандаш — заметила, что он переложил его, но ничего не сказала. Убрала альбом в сумку. За иллюминатором уже появились огни Инчхона — море огней, ровные улицы, изгибы ночных хайвэев. Сеул возвращал к себе — неизбежно, как всегда.

Самолёт сел мягко. Пробежал по полосе и остановился у рукава.

— Спасибо, — сказала она, когда табло с ремнями погасло. — За сегодня. За всё.

— Не за что, — сказал он.

Она встала, сама достала сумку из верхнего отсека, не дожидаясь помощи, и пошла по проходу. Не оглянулась. Просто ушла — так же, как появилась: тихо и словно совершенно независимо от того, хочет ли кто-нибудь её задержать.

Хан Джэ остался сидеть. Так было положено — ждать, пока пройдёт основной поток, и потом выходить с охраной через служебный рукав. Ещё одна привилегия, которая на самом деле была ограничением.

Чхве уже что-то говорил про завтра. Кан разговаривал по телефону с водителем. Жизнь снова запускалась — расписание, обязательства, имя.

Хан Джэ смотрел на пустое кресло 3А. На столешнице перед ним осталась одна линия — тонкая, едва заметная, карандашная. Она провела её там, когда спросонья открыла альбом и промахнулась. Просто линия.

Он не знал ни одного способа её найти. Только имя — Ли Со Ын — и то, что она скульптор. И то, что она работает с глиной и полгода не чувствует ничего. И то, что засыпает в самолётах, хотя и не хочет. И то, что ей совершенно неважно, кто он такой.

Вот это последнее почему-то не давало покоя больше всего.

Выходить пришлось через служебный терминал — отдельный коридор, отдельные двери, машина прямо у выхода. Так всегда: чтобы не было толпы, давки, телефонов в лицо. Стандартная процедура, отработанная до автоматизма.

Но сегодня что-то пошло не так — информация утекла, как утекает всегда: через кого-то из персонала аэропорта или просто потому, что кто-то узнал рейс. Когда двери служебного выхода открылись, снаружи уже стояли люди — человек двести, может, больше. Телефоны поднялись мгновенно, как один организм. Крики — его имя, название группы, просто крики от возбуждения.

Кан и Пак сомкнулись по бокам. Чхве забежал вперёд, прокладывая путь. Хан Джэ опустил голову, поднял воротник — и пошёл. Он умел это: двигаться сквозь толпу как сквозь воду, не останавливаясь, не реагируя на прикосновения к рукавам, на крики имени прямо в ухо. Улыбаться коротко, не замедляясь. Кивать. Не смотреть в глаза — если согласишься в глаза, остановишься, а останавливаться нельзя.

Вспышки слепили. Кто-то плакал — он слышал это каждый раз, и каждый раз это было немного странно: что он может вызвать у кого-то слёзы просто фактом своего существования. Он не понимал этого до конца, хотя прожил в этом уже много лет.

До машины оставалось метров двадцать. Именно тогда он её и увидел.

Она стояла в стороне от толпы — не в толпе, а именно в стороне, у края тротуара, там, где заканчивался хаос и начиналась обычная парковочная зона. Рядом стоял мужчина в тёмном костюме с табличкой — белый картон, чёрные буквы: «ЛИ СО ЫН». Водитель. Она что-то коротко ему говорила, он кивал. Потом она взяла сумку, он взял её чемодан, и они пошли к машине — чёрному седану, без всякой демонстративности.

Она ни разу не обернулась. Не посмотрела в сторону толпы, не посмотрела на вспышки, не посмотрела на него. Просто шла к машине — спокойно, со своим альбомом под мышкой, как человек, которому нужно домой, и больше ничего.

Хан Джэ остановился на секунду.

Кан тут же взял его за локоть — мягко, но настойчиво: нельзя останавливаться, толпа давит сзади. Он знал. Он сделал ещё шаг, и ещё, и ещё — к машине, к открытой двери, к тёмному салону, где не будет вспышек.

Дверь закрылась.

Он обернулся — в заднее стекло. Чёрный седан уже выезжал со стоянки, спокойно, без спешки. Не оглядываясь.

За окном его машины толпа ещё кричала что-то, телефоны тянулись следом. Чхве уже говорил по телефону — что-то про завтрашнее расписание. Кан смотрел прямо перед собой.

Хан Джэ откинулся на спинку сиденья.

Двести человек знали, кто он такой. Кричали его имя. Плакали.

Она не знала. И уехала домой.

Он подумал, что хотел бы оказаться в том чёрном седане. Просто так — без охраны, без имени, без толпы за стеклом. Чтобы ехать по ночному Сеулу и молчать рядом с человеком, которому всё это совершенно безразлично.

Это было невозможно.

Пока — невозможно.

Глава третья

5:30 утра

В пять тридцать утра Сеул выглядит иначе.

Не тот Сеул, который знают туристы — с огнями Намсана и шумом Мёндона, с кофейнями на каждом углу и хайвэями, забитыми машинами. Это другой город — тихий, с пустыми улицами и редкими фарами. Город, который ещё не проснулся и поэтому не притворялся. Хан Джэ любил его именно таким — честным, синеватым, до первых машин и до первых ролей, которые каждый играет с открытыми глазами.

Машина шла по пустому Кангнам-у без пробок — редкое удовольствие. Водитель молчал, Кан дремал на переднем сиденье, Чхве печатал что-то в телефоне. Хан Джэ смотрел в окно.

Огни пролетали мимо — рекламные щиты, витрины закрытых магазинов, редкие прохожие. На мосту через Хан одинокий рыбак разматывал удочку — неторопливо, как человек у которого есть только это утро и больше ничего не запланировано. Хан Джэ проводил его взглядом и подумал что завидует этой неторопливости — и тем более рыбалке, которую он обожал сам.

И почему-то — он сам не понял почему — подумал о ней. О скульпторе из аэропорта. О том как она сидела в углу зала ожидания, отгородившись от всего мира альбомом, и была в этом отгораживании такой же одинокой и такой же неторопливой, как этот рыбак. Человек, у которого есть только это утро. Мысль пришла и ушла — но оставила след, как оставляет след камень, брошенный в воду ещё до того как ты успел решить, бросать ли его.

Он не жаловался. Это была его жизнь — жизнь которую он выбрал в восемнадцать, когда подписал контракт и переехал в дорм, где их тогда было четверо в одной комнате. Четверо молодых людей, одна ванная, общий сон, иногда это было всего три часа за ночь из-за плотного графика и постоянных репетиций. Потом появился пятый — Кан Ир, самый младший, приехал из Пусана с чемоданом и с тем выражением лица с которым приезжают люди решившие доказать что не зря приехали. Сел на свободную кровать, огляделся и сказал только: «Не храплю. Можете не переживать.» Кто-то засмеялся — и лёд растаял сразу.

Хан Джэ помнил запах того дома — старый линолеум, чья-то еда из холодильника, пот после тренировок. Помнил как Тэ Джин спал, положив руки между колен, не реагируя ни на что. Помнил как Но Гёль сидел по ночам в углу с наушниками, пересматривая на маленьком экране старые чёрно-белые фильмы, или что-то писал в тетрадь — заметки о фильмах, может, или просто мысли — никогда не показывал, никто не спрашивал. Он был лидером группы, и это чувствовалось не в командах, а в том как он думал вслух — медленно, с той основательностью человека, который, прежде чем сказать, уже видит и просчитывает на три хода вперёд.

Тогда не было денег ни на что. На футболках для первого выступления они сами напечатали принты. Отец Хан Джэ предлагал деньги — он был человеком бизнеса, прагматичным и добрым, не понимал зачем сыну эти мучения. Хан Джэ отказался. Если взять деньги отца — это уже не его путь, а папина благотворительность. Он хотел заработать право на сцену сам.

Он заработал. Но иногда — вот так, в машине в пять утра — думал о том чего это стоило.

Репетиционный корпус встретил его охранником у входа. Хан Джэ кивнул, провёл карточкой, пошёл по коридору. Флуоресцентный свет, линолеум, запах — специфический запах всех репетиционных залов мира: пот, резина от кроссовок, чуть — дерево паркета и совсем немного — чужой парфюм, впитавшийся в стены за годы. Хан Джэ вдыхал его и чувствовал успокоение. Этот запах означал: ты дома.

На третьем этаже, у двери кухни, он остановился.

Изнутри доносился тихий голос — один, без ответа. Хан Джэ толкнул дверь.

Но Гёль сидел за столом у окна с телефоном у уха и смотрел в тёмное стекло. Увидел Хан Джэ, кивнул — коротко, как кивают людям которым рады но не намерены прерывать разговор. Хан Джэ кивнул в ответ, снял куртку, открыл холодильник.

— Нет, я сказал во вторник, — говорил Но Гёль в телефон. Голос ровный, без раздражения — он умел говорить «нет» так, чтобы собеседник не обижался, просто понимал что это окончательно. — Вторник в три. Раньше не получится. — Пауза. — Хорошо.

Он убрал телефон и посмотрел на Хан Джэ.

— Рано приехал, — сказал он.

— Ты ещё раньше.

— Я не уезжал. — Но Гёль кивнул на диван в углу кухни — там лежал скомканный плед. — Здесь и остался после вчерашней студии.

Хан Джэ посмотрел на плед, потом на него. Но Гёль выглядел как человек, который спал три часа и считает это достаточным. Тёмные круги под глазами, но взгляд — абсолютно ясный, сосредоточенный. Это была его особенность: он мог работать в состоянии, когда другие уже не соображали, и при этом не терять точности.

— Что писал? — спросил Хан Джэ, доставая яйца и зелёный лук.

— Мост для третьего трека. — Но Гёль потёр лицо ладонями. — Не идёт. Стоит на одном месте уже две недели.

— Придёт.

— Придёт, — согласился Но Гёль без особой уверенности. Потом помолчал. — Как Токио?

— Нормально. Дождь, задержка рейса.

— Чхве говорил что ты был занят весь полет.

Хан Джэ поставил сковороду на плиту. Ничего не ответил.

Он разбил яйца, привычно, одной рукой — движение, отточенное за годы до автоматизма. Зашипело масло. Он нарезал зелёный лук — тонко, ровно, слушая звук ножа о доску, и этот простой домашний звук успокаивал его сильнее любых слов. Готовка была единственным, что он делал только для себя и только для своих — не для камер, не для сцены, не для чужих глаз. Здесь не нужно было быть Хан Джэ-из-популярной группы. Здесь он был просто человеком, который кормит своих друзей, ставших ему близкими людьми за долгие годы совместной работы, потому что накормить — это самый честный способ сказать «я рядом», который он знал.

И пока руки делали привычное, мысли снова ушли к ней. К тому как она ела рис в той комнате в аэропорту — сначала недоверчиво, потом всё быстрее, как человек, который не помнил когда ел в последний раз. Он поймал себя на том, что помнит это слишком точно. Помнит, как она держала палочки. Помнит линию её плеч, когда она наконец расслабилась. Это было неправильно — помнить незнакомого человека так подробно.

Но Гёль не повторил вопрос — он умел ждать так же хорошо, как умел молчать. Просто сидел, смотрел в окно, где Сеул постепенно светлел, наливаясь синим предрассветным светом.

— Ты уже здесь.

Голос был хриплым и недовольным. Тэ Джин вошёл в кухню в спортивных штанах и чёрной толстовке с капюшоном надвинутым почти на глаза. Волосы торчали в сторону. Он прошёл к холодильнику, достал воду, сел на подоконник. Увидел Но Гёля.

— И ты здесь.

— Я не уходил, — сказал Но Гёль.

Тэ Джин посмотрел на плед в углу. Ничего не сказал — для него это тоже не было новостью. За годы в группе он привык к тому, что Но Гёль иногда просто оставался в студии или

на репетиционной базе — потому что незачем было ехать домой ради трёх часов сна, потому что работа не отпускала. Тэ Джин сам был таким. Может поэтому не комментировал.

— Как Токио? — спросил Тэ Джин, глядя в окно.

— Нормально.

— Чхве говорит, ты был немного рассеянный после аэропорта.

— Чхве много говорит, — сказал Но Гёль со своего места, не оборачиваясь.

Тэ Джин посмотрел на него. Потом на Хан Джэ. Потом снова в окно. Это означало что он заметил совпадение — оба одинаково заметили — и запомнил. Тэ Джин всегда запоминал детали. Это потом становилось строчками в его текстах — конкретные жесты, конкретные слова, выхваченные из обычного дня и поставленные в точное место.

Рис был готов. Хан Джэ разложил по мискам — пять штук. Поставил перед Но Гёлем, перед Тэ Джином.

— Ешьте.

Но Гёль взял палочки без слов. Тэ Джин взял тоже — он никогда не отказывался от еды которую ставил перед ним Хан Джэ. Это была их негласная договорённость, существующая столько лет сколько они были вместе: Хан Джэ готовил, остальные ели. Не из субординации — просто так сложилось и всех устраивало.

Остальные появились в течение следующего получаса.

Первым — Юн Сэ. Вошёл тихо, как всегда, но этим утром — с той особой лёгкостью в плечах, которая у него означала хорошее настроение. Увидел Но Гёля — нисколько не удивился.

— О, хёним здесь, — сказал он, беря миску, и в голосе была тёплая усмешка. — Снова не уходил?

— Снова, — сказал Но Гёль.

— Тебе надо домой ходить. Там кровать нормальная. — Юн Сэ уже ел, сев у окна. — Хёним, мост для третьего трека получился наконец?

— Нет.

— Получится. — Он сказал это спокойно, но с той тихой уверенностью, которая у него убеждала лучше любого напора. — Ты всегда в итоге находишь. Помнишь как со вторым альбомом? Три недели не шло, а потом за одну ночь написал половину.

Но Гёль посмотрел на него — с тем выражением, которое означало что-то среднее между «ты прав» и «замолчи». Юн Сэ это выражение знал и поэтому просто продолжал есть, глядя в телефон — не листал, просто смотрел в одну точку, но уголок рта у него был приподнят: он своё сказал и знал, что попал.

А потом — как бы между делом, не поднимая глаз от телефона — сказал негромко, так что услышал только Хан Джэ, стоявший ближе всех:

— Хён, ты рис себе не положил.

Хан Джэ замер на секунду. Он и правда не положил — накормил остальных, о себе забыл, как всегда. Он думал, этого никто не замечает. Оказалось — замечает. Юн Сэ не смотрел на него, не делал из этого истории, просто сказал и вернулся к еде — но в этом коротком «ты рис себе не положил» было больше заботы, чем в десяти длинных вопросах о самочувствии. Так Юн Сэ и заботился: тихо, точно, не требуя за это ничего. Хан Джэ молча положил себе полмиски. Просто чтобы Юн Сэ видел, что услышан.

Кан Ир появился следом — тихо, как появляются люди, которые не считают нужным объявлять о своём приходе. В руках телефон — он смотрел в него с тем особым выражением, когда смотришь не на экран а куда-то сквозь него. Взял рис, сел. Телефон убрал. Просто сидел и смотрел в окно — туда, где Сеул медленно светлел.

— Мост нашёл? — спросил он.

— Нет, — сказал Но Гёль.

— Попробуй сменить тональность в начале. Там есть ощущение что ты идёшь в гору против себя.

Но Гель медленно повернул голову. Посмотрел на Кан Ира. Тот смотрел — спокойно, как будто сказал что-то совершенно обычное.

— Откуда ты знаешь? — сказал Но Гель.

— Ты насвистывал его три дня назад в лифте, — сказал Кан Ир. — Я запомнил.

Но Гель помолчал. Потом взял телефон и что-то записал. Тэ Джин наблюдал за этим обменом с подоконника с видом человека, которому интересно но, который не станет этого показывать.

Кан Ир доел, отставил миску — и вдруг, всё тем же ровным тоном, добавил, не глядя на Но Геля:

— Хёним, вы сегодня во втором акте на финальном перестроении уходите на полшага раньше.

— Знаю, — сказал Но Гель.

— Я просто говорю.

— Я слышал.

— Хорошо. — Кан Ир невозмутимо поднялся. — Просто чтобы знали.

Хан Джэ подавил улыбку. За неземной рассеянностью Кан Ир пряталась дотошность, которой не ждёшь: он замечал каждую неточность — не из наглости, а из той же перфекционистской логики, что двигала им самим на репетициях: неважно кто старший, важно что неправильно. Но Гель это принимал спокойно — он ценил людей, которые говорили правду без обёрток.

Люди думали, что Кан Ир витает. Хан Джэ знал правду. Он видел, как Кан Ир остаётся в зале, когда все уходят — один, перед зеркалом, прогоняя одно и то же движение по сорок раз, пока оно не переставало быть движением и не становилось чем-то другим, тем самым, из-за чего Со Чжину говорила «на него смотришь». Эта неземная лёгкость, которой все восхищались, была создана тяжёлым каждодневным трудом. Заработана в пустом зале в те часы, когда никто не видел. Кан Ир никому об этом не говорил — и Хан Джэ тоже молчал, потому что понимал: человек имеет право, чтобы его труд выглядел как волшебство.

Репетиция началась в шесть ровно.

Зал на четвёртом этаже — большой, с зеркалами во всю стену и деревянным паркетом, который помнил тысячи часов. Хореограф Со Чжину уже стояла в центре.

— Второй акт. С начала. Музыка.

Первые такты — и тело переключилось.

Хан Джэ смотрел в зеркало и видел пять человек. Пять разных способов существовать в движении.

Юн Сэ танцевал с той выверенной точностью, которая даётся только годами работы на пределе — каждое движение отшлифованное до последнего миллиметра, ни одной случайной линии. Но в этой точности не было холода — была страсть которую он умел держать внутри формы, не давая ей выплёскиваться наружу. Максимальный контроль и максимальная отдача одновременно. И была лёгкость — та самая, которую он приносил в любую комнату: музыка была в нём, а не снаружи.

Но Гель в хореографии был точным — не самым лёгким и не самым эффектным, но точным. Он понимал структуру движения так же как понимал структуру текста: изнутри, через логику. Каждый жест был обоснованным. Со Чжину никогда не делала ему замечаний по счёту — только иногда просила добавить свободы в плечах, чуть отпустить контроль. Он кивал и на следующем прогоне делал ровно то же самое — методично и правильно.

Тэ Джин точен как метроном. Снаружи без эмоции — всё внутри.

Кан Ир в хореографии был отдельным явлением — не лучшим по технике и не худшим, просто другим. Он двигался так как будто слышал в музыке что-то чего не слышали остальные — какой-то дополнительный слой, своё измерение. И при этом каждое его движение стоило ему видимого усилия — того красивого усилия человека, который знает что ничего не досталось даром и вырывает результат трудом. Со Чжину однажды сказала про него: «Я не могу объяснить что он делает правильно. Но когда он в кадре — смотришь на него.»

— Стоп, — сказала Со Чжину. — Левый фланг. Переход. Ещё раз.

— Я же говорил, — тихо сказал Кан Ир.

— Встали, — сказал Но Гель — негромко, без командного тона, просто как факт. И все встали.

Они прогнали переход семь раз. На восьмом Со Чжину кивнула. Юн Сэ поднял кулак — коротко, радостно. Но Гель просто выдохнул — коротко, с закрытыми глазами. Хан Джэ знал этот жест: так он делал когда что-то наконец получалось так как должно было.

Перерыв — пятнадцать минут.

Хан Джэ взял полотенце, вышел в коридор, сел на пол у стены. Вытянул ноги, закрыл глаза.

Через минуту рядом опустился Тэ Джин. Потом — с другой стороны — Но Гель. Они сидели втроём у стены, молча. Это было привычным — в перерывах между блоками они часто оказывались вот так, рядом, без необходимости говорить. Трое, которые помнили самое начало.

— О чём думаешь? — спросил Тэ Джин наконец.

— Ни о чём.

— Ты весь день думаешь ни о чём. Это заметно.

Но Гель молчал. Просто сидел, смотрел в стену напротив, крутил в руках бутылку с водой.

— В самолёте кое-что было, — сказал Хан Джэ. — Скульптор. Корейка. Застрали вместе в аэропорту из-за задержки рейса в Токио.

— Она знает кто ты? — спросил Тэ Джин.

— Нет. Видела толпу в аэропорту — даже не оглянулась.

Тэ Джин посмотрел на него — с той точностью которую Хан Джэ знал и немного боялся.

— Ты устал быть узнаваемым. Поэтому человек, который не узнал тебя — зацепил.

— Может быть.

— Не может быть. Точно.

Хан Джэ не ответил. Но про себя знал, что Тэ Джин прав только наполовину. Дело было не только в том, что она его не узнала. Дело было в том, как она смотрела на пустой лист своего альбома — с той же безнадёжностью, с какой он сам иногда смотрел на пустую страницу нового трека. Он узнал в ней что-то своё. Человека, который умеет создавать и вдруг разучился. Человека, у которого внутри что-то заклинило. Он не сказал этого вслух — ни Тэ Джину, ни Но Гёлю. Некоторые вещи, если произнести, становятся слишком реальными.

Но Гель всё это время молчал. Потом сказал — спокойно, в паузу:

— Как её зовут?

— Ли Со Ын.

Но Гель кивнул — медленно, как кивают когда запоминают. Встал, намотал полотенце на шею.

— Спроси меня после репетиции, — сказал он. — Про галерею.

И ушёл.

Тэ Джин проводил его взглядом. Потом сказал Хан Джэ:

— Спроси. Только не делай вид что это для того чтобы просто посмотреть её работы.

— А что это?

— Ты уже знаешь что это, — сказал он. И ушёл.

Хан Джэ остался в коридоре один. За окном Сеул окончательно проснулся — первые автобусы, первые пешеходы, бледное октябрьское небо над крышами. Новый день. Расписание на двенадцать часов вперёд. Студия, примерка, созвон с Японией.

И час между репетицией и студией.

Час — его.

Он закрыл глаза и на секунду увидел её снова — как она провела в воздухе линию пальцем, объясняя ему что-то про форму, чего он тогда не понял. Он не понял слов, но запомнил жест. И сейчас, в пустом коридоре, поймал себя на том, что хочет понять. Не жест — её.

— Хёним! — Голос Юн Сэ из зала. — Со Чжину зовёт!

Хан Джэ встал и толкнул дверь.

Зал встретил его пятью отражениями в зеркалах. Со Чжину стояла в центре. Но Гёль уже был на позиции — спокойный, сосредоточенный, как будто только что не сидел в коридоре. Поймал взгляд Хан Джэ и чуть приподнял бровь — просто наблюдение, без вопроса.

— Финальный блок, — сказала Со Чжину. — Музыка.

Хан Джэ встал на позицию. Тело переключилось. Мысли ушли — все кроме одной: после репетиции он поговорит с Но Гёлем.

До обеда оставалось ещё четыре часа.

Глава четвёртая

Галерея

Репетиция закончилась в половине одиннадцатого.

Со Чжину отпустила их с обычным своим кивком — коротким, скупым, означающим что на сегодня достаточно. Юн Сэ с шумным выдохом опустился прямо на пол, раскинув руки, и объявил в потолок, что на сегодня он официально закончился как человек. Кан Ир, не обращая на него внимания, разматывал тейп с запястья — он тейпировал руки перед каждой репетицией, привычка человека, который не позволял себе ни одной случайной травмы и вообще ни одной случайности. Но Гёль сел у стены, закрыл глаза, дышал — ровно, намеренно, как человек, который умеет выключаться в любом месте и при любых условиях.

Хан Джэ взял полотенце и пошёл к Но Гёлю.

Тот стоял у окна — смотрел на улицу вниз, где Сеул уже жил полным дневным ходом. Увидел Хан Джэ — кивнул и сразу достал телефон, не дожидаясь вопроса. Он помнил о чём они договорились утром.

— «Пространство Со», — сказал он. — Небольшое место, белые стены, хозяйка сама куратор. Хороший уровень — не коммерческий, настоящий. — Нашёл что-то в телефоне, показал экран. — Вот адрес. Там со стороны переулка есть вход без вывески — хозяйка иногда открывает его для людей, которые хотят смотреть без толпы. Скажи, что ты от меня.

Хан Джэ посмотрел на адрес, потом на него.

— Ты знаешь Ли Со Ын?

Но Гёль помолчал секунду — чуть дольше, чем обычно.

— Два года назад была небольшая выставка, я заходил. Интересные работы. Очень закрытый человек — куратор тогда сказала, что она редко появляется и почти не даёт интервью. — Он снова посмотрел на Хан Джэ. — Значит это она. Та из Токио.

— Да.

— Она тебя не узнала, — сказал Но Гёль. — Это редкость. — Убрал телефон. — Галерея до семи. Сегодня вторник — обычно не людно.

Хан Джэ посмотрел на него.

— Ты там бываешь часто?

— Раз в несколько месяцев. — Но Гёль убрал телефон. — Хозяйка — Чан Хэён, хорошо разбирается в материале. Иногда показывает что-то новое, интересное, ещё не выставленное.

Хан Джэ смотрел на него секунду дольше, чем нужно. Он знал за Но Гёлем эту тихую страсть — тот мог сорваться в выходной и уехать один на другой конец города ради маленькой выставки в подвале, о которой никто не слышал; знал молодых художников по именам раньше, чем о них писали; иногда покупал работу у начинающего просто чтобы у того были деньги продолжать. Он никогда не делал из этого шума. Просто искусство было тем местом, где лидер группы, который для всех остальных был опорой, сам мог быть просто зрителем.

— Спасибо.

— Не за что. — Но Гёль уже отворачивался к окну. Потом остановился. — Хан Джэ.

— Да.

— Её работы сложные. Там нужно время — не ходи как на промо, не смотри по минуте на каждую. Стой пока не почувствуешь.

Хан Джэ кивнул, и Но Гёль снова отвернулся к окну.

В раздевалке Юн Сэ, уже воскресший, натягивал чистую футболку и вполголоса говорил Кан Ир что-то про токийский дождевик — Кан Ир слушал вполуха, со своим обычным

отсутствующим видом, но в нужный момент кивал, и это Юн Сэ вполне устраивало. Тэ Джин переодевался молча. Кан Ир поймал взгляд Хан Джэ в отражении и чуть кивнул.

Это означало: видел разговор с Но Гёлем. Всё понял. Иди.

Хан Джэ переоделся быстро.

В коридоре он нашёл Чхве — тот уже держал наготове планшет с расписанием второй половины дня.

— В час студия, звуковая проверка новых треков, в три—

— Чхве, — сказал Хан Джэ. — Мне нужен воздух.

Пауза.

Чхве опустил планшет. Посмотрел на него — с тем особым выражением человека, который официально ничего не знает, но знает всё.

— Сколько вам нужно времени? — спросил он.

— Час. Максимум полтора.

— В студии ждут в час. — Чхве снова поднял планшет. — У вас есть час двадцать. Телефон не выключайте.

— Не выключу.

Юн Сэ выглянул из раздевалки — он всё слышал, конечно, у него был слух летучей мыши на кодовые слова, особенно когда речь шла о еде.

— Хёним, — сказал он, — если будете в Итэвоне — там на главной улице новая тэккёори открылась, говорят отличная. Я бы сам сходил, но у меня в двенадцать интервью для—

— Юн Сэ, — сказал Тэ Джин из глубины раздевалки.

— Молчу, молчу. — Юн Сэ убрал голову обратно, но перед этим успел широко улыбнуться. — Удачи, хёним.

Хан Джэ усмехнулся и вышел на лестницу.

На первом этаже он остановился у зеркала в холле. Кепка — низко, почти на глаза. Маска — простая хирургическая, не та брендовая которую он обычно носил для фото. Обычная куртка, обычные кроссовки. Он смотрел на своё отражение и думал, что в таком виде его не узнают — наверное. Вероятно. Если повезёт и никто не будет смотреть слишком пристально.

Это был риск, который он принимал каждый раз когда хотел просто выйти на улицу.

Он вышел через боковую дверь.

Октябрьский Сеул встретил его холодным воздухом и запахом жареного каштана от лотка на углу. Хан Джэ шёл пешком — до Итэвона было минут двадцать, и он хотел именно идти, а не ехать. Просто идти по улице как обычный человек, чувствовать под ногами тротуар, видеть витрины, слышать разговоры вокруг.

Никто не смотрел на него дважды. Это было хорошо.

Итэвон встретил его обычным своим смешением — корейские вывески рядом с английскими, запах кофе из маленьких кафе, несколько туристов с картами. Хан Джэ нашёл переулок по адресу, который показал Но Гёль — узкий, с брусчаткой, с плющом на стенах, который к октябрю стал тёмно-красным. В конце переулка — неприметная дверь, тёмное дерево, никакой вывески.

Он толкнул дверь.

Внутри было тихо.

Не пусто — тихо. Это разные вещи. Пустота — это отсутствие. Здешняя тишина была наполненной — белые стены, рассеянный свет с потолка, деревянный пол, и работы. Несколько скульптур на постаментах, несколько — просто на полу, без постаментов, без дистанции.

Из глубины галереи появилась женщина — лет пятидесяти, с короткими седеющими волосами и взглядом человека, который умеет смотреть на искусство и на людей одинаково внимательно.

— Добрый день, — сказала она негромко. — Чан Хэён. Вы от Но Гёля?

— Да, — сказал Хан Джэ. — Он говорил о вас.

— Он хороший зритель. — Она кивнула на зал. — Смотрите сколько нужно. Если будут вопросы — я здесь.

Она ушла обратно в глубину — за стеклянную перегородку, где стоял маленький стол с бумагами. Хан Джэ остался один.

Он снял маску — здесь не было никого, можно было дышать нормально. Снял кепку, убрал в карман. Огляделся.

Работ было семь или восемь. Он подошёл к ближайшей.

Это была фигура — не человек и не животное, что-то между. Вытянутая, с наклоном вперёд, как будто идущая против ветра. Материал — тёмная бронза, матовая, без блеска. Он обошёл её медленно, с разных сторон. С одного угла она казалась усилием — напряжённым, почти болезненным. С другого — просто движением, просто шагом. Всё зависело откуда смотреть.

Он вспомнил что сказал Но Гель: стой пока не почувствуешь.

Он стоял.

Потом перешёл к следующей.

Здесь — две руки. Только руки, отдельно от тела, сложенные не вместе, а навстречу друг другу — почти касаются, но не касаются. Между ладонями — пространство в сантиметр, может меньше. Белый гипс, очень чистый. Хан Джэ смотрел на это пространство между ладонями и думал что именно оно и есть главное в этой работе. Не руки — промежуток. То, чего нет.

Скульптор думает пространством, вспомнил он. Это она сказала в самолёте — нет, не так. Она говорила о глине, о том, что перестала её чувствовать. Но здесь — в этих работах — чувство было. Очень конкретное и очень личное. Как будто смотришь на чей-то внутренний монолог, переведённый в форму.

Он переходил от работы к работе медленно.

Была одна — почти абстрактная, просто форма, которая при долгом взгляде начинала напоминать человека, свернувшегося внутрь себя. Была другая — острая, вся из углов, агрессивная снаружи и при этом с маленьким округлым углублением в центре, как гнездо. Была третья — самая простая на вид: просто поверхность, почти плоская, но с бесконечными следами пальцев, вдавленными в глину до обжига. Поверхность, которую трогали. Много раз, долго, с нажимом.

Хан Джэ остановился перед этой третьей дольше всего.

Он думал: она делала это руками. Каждый след — её пальцы, её давление, её решение нажать именно здесь и именно так. Это был разговор — между ней и материалом, о котором она говорила в самолёте. Разговор, который она сказала, что потеряла.

Значит эти работы были до. До шести месяцев пустоты.

Он не услышал как открылась дверь.

— Чан Хэён, мне нужно взять ещё несколько—

Голос оборвался.

Хан Джэ обернулся.

Она стояла в дверях — с папкой под мышкой и с выражением человека, который шёл по делу и внезапно увидел нечто что не вписывается в план. На ней было то же самое — джинсы, свитер, только другой, тёмно-синий. Волосы убраны наспех. В руке — карандаш, который она, судя по всему, держала всё утро.

Они смотрели друг на друга.

Первой заговорила она.

— Вы здесь, — сказала она. Не вопрос — констатация. Тон ровный, без удивления снаружи, но что-то в паузе перед этими словами выдавало что удивление было.

— Здесь, — согласился он.

— Как вы нашли это место?

— Через знакомого. Но Гёль — он сказал, что знает вашего куратора.

Со Ын медленно вошла. Поставила папку на ближайший постамент — аккуратно, не глядя, по привычке. Посмотрела на него — тем своим взглядом, оценивающим и спокойным.

— Вы специально искали галерею? — спросила она.

Хан Джэ мог сказать «случайно оказался рядом» или «просто зашёл посмотреть». Это было бы легче. Но он помнил, как она говорила в самолёте — прямо, без украшений, называя вещи своими именами. Она оценила это в нём тогда. Было бы нечестно делать иначе.

— Да, — сказал он. — Специально.

Пауза.

Она смотрела на него — долго, без спешки. Он не отвёл взгляд.

— Почему? — спросила она наконец.

— Хотел увидеть ваши работы.

— Посмотрели?

— Да.

— И что?

Он подумал. Не для того, чтобы найти правильные слова — просто, потому что хотел ответить точно.

— Вот эта, — он кивнул на скульптуру со следами пальцев, — она про разговор, который прервался. Вы это имели в виду в самолёте — когда говорили, что перестали чувствовать материал. Это было до.

Что-то изменилось в её лице — едва заметно, чуть напряглись скулы. Потом отпустило.

— Да, — сказала она. — До.

Они помолчали. Из-за стеклянной перегородки вышла Чан Хэён — увидела Со Ын, улыбнулась.

— Со Ын-а, ты пришла за документами? Они на столе. — Увидела Хан Джэ, кивнула ему. — Вижу вы знакомы.

— Встречались, — сказала Со Ын нейтрально.

— Ваш знакомый Но Гёль — хороший человек, — сказала Чан Хэён Хан Джэ. — Если бы все зрители смотрели как он — работа куратора была бы счастьем, а не трудом. — Она взяла со стола папку, протянула Со Ын. — Вот. И подпись, вот здесь.

Со Ын взяла ручку, подписала, не читая — значит знала, что там. Вернула папку. Подняла взгляд на Хан Джэ.

— Вы давно здесь?

— Минут тридцать.

— Долго для случайного посетителя.

— Я не случайный, — сказал он. — Мы это уже выяснили.

Она почти улыбнулась — он увидел это по тому, как чуть дрогнул уголок рта, сразу же остановленный.

— Мне нужно работать, — сказала она.

— Здесь?

— В мастерской. — Кивок в сторону двери в глубине галереи. — Мне дали её на несколько недель пока готовится следующая выставка.

— Как работается?

Пауза. Она взяла папку, потом карандаш, который лежал на постаменте.

— Пока не очень, — сказала она. — Но я пробую.

— Это уже другое дело, — сказал он. — Раньше вы даже не пробовали.

Она остановилась. Посмотрела на него — с тем же внимательным взглядом, но в нём теперь было что-то новое. Не раздражение и не тепло — что-то среднее, что бывает, когда человек говорит точную вещь, которую ты ещё не успел сформулировать про себя.

— Токио помог, — сказала она наконец. Тихо, почти для себя.

— Или задержка рейса, — сказал он.

— Или задержка рейса, — согласилась она.

Снова пауза — но другая. Не неловкая. Просто пространство между двумя людьми, которые ещё не решили, что с ним делать.

— Вы приедете ещё? — спросила она. Прямо, без кокетства — просто вопрос.

Он мог сказать «не знаю» — осторожно, необязывающее. Но он уже один раз выбрал честность и не пожалел.

— Да, — сказал он. — Если вы не против.

Она смотрела на него секунду. Потом повернулась и пошла к двери мастерской.

— Я буду здесь до пяти, — сказала она, не оборачиваясь. — Чан Хэён вас не выгонит.

Дверь закрылась.

Хан Джэ стоял в тишине галереи один. Чан Хэён за стеклянной перегородкой что-то писала, не смотря в его сторону — деликатно, как деликатны люди, которые работают с искусством и с людьми, которые его делают.

Он надел маску и кепку.

Посмотрел последний раз на скульптуру со следами пальцев.

Она сказала «до пяти» — значит он мог вернуться. Не сегодня — в час студия, не успеть. Но завтра. Или послезавтра.

Он вышел в переулок.

Брусчатка, плющ на стенах, октябрьский воздух. Он шёл к главной улице и думал что Тэ Джин был прав — это не просто так посмотреть. Это никогда не было просто так посмотреть.

Телефон завибрировал. Чхве: «До студии сорок минут. Машина у главного входа репетиционного корпуса.»

Хан Джэ остановил такси.

В машине, пока Сеул проносился за стеклом, он достал телефон и написал Но Гёлю одно слово: «Спасибо.»

Ответ пришёл через минуту. Тоже одно слово: «Стоял долго?»

Хан Джэ усмехнулся и написал: «Тридцать минут.»

Но Гель: «Хорошо. Значит увидел.»

Хан Джэ убрал телефон и стал смотреть в окно.

Увидел — это точное слово. Он увидел её работы. И через них — кое-что из неё самой. То, что она не говорила словами, что держала за стеклянным куполом, что не подпускала близко. Руки говорили вместо неё — в глине, в бронзе, в гипсе.

Она сказала, что пробует. Что раньше не пробовала — и это правда, в Токио она говорила о пустоте как о стене. Теперь стена, кажется, чуть сдвинулась.

Он не знал имеет ли он к этому отношение. Наверное нет — это было её и только её. Но мысль о том, что задержка рейса в токийском аэропорту что-то сдвинула в человеке, который полгода стоял перед пустым листом — эта мысль была тихой и тёплой, и он не стал её прогонять.

Такси остановилось у студии.

Чхве уже стоял у входа с планшетом и с видом человека, который официально ничего не спрашивал и официально ни о чём не знает.

— Хорошо погуляли? — спросил он.

— Хорошо, — сказал Хан Джэ.

— Звуковая проверка через двадцать минут. — Чхве уже шёл к лифту. — Третий трек переписываем полностью, Но Гель нашёл мост.

— Нашёл? — Хан Джэ догнал его. — Когда?

— Час назад. Говорит после того как Кан Ир сказал про тональность.

Хан Джэ покачал головой. Кан Ир — одно замечание в полседьмого утра, и мост, который не шёл две недели нашёлся за час. Такой был Кан Ир.

Двери лифта открылись, и Хан Джэ зашёл внутрь.

В студии его ждала работа — треки, запись, голос, часы в наушниках. Обычный день, обычное расписание.

Но где-то в Итэвоне, в мастерской за дверью в глубине галереи с белыми стенами, человек со скульпторскими руками брал в руки глину и пробовал.

Этого было достаточно пока.

Глава пятая

Глина

Квартира на двадцать третьем этаже в Сомэ была задумана архитектором как пространство для жизни. Панорамные окна от пола до потолка, открытая планировка, кухня с островом из белого мрамора, ванная с отдельной кабиной и отдельной ванной — всё это отец выбирал сам, без неё, в тот год когда решил что дочери нужно собственное жильё в хорошем районе. Со Ын тогда не возражала — не потому, что была согласна, а потому что возражать означало объяснять, а объяснять означало говорить о том, чего она не хотела касаться. О том что ей не нужны панорамные окна. О том что двадцать третий этаж давит — слишком далеко от земли, слишком далеко от всего настоящего.

Она жила здесь уже два года и так и не привыкла.

Утром после возвращения из Токио она сидела на подоконнике — единственном месте в квартире, где ей было по-настоящему хорошо — и смотрела на Сеул внизу. Город был серым и плоским с такой высоты, как карта, нарисованная без любви: прямые линии хайвэев, квадраты кварталов, река блестящей полосой на горизонте. Красиво — объективно, технически красиво. Как бывает красива геометрия.

Телефон лежал рядом экраном вниз.

Мама звонила трижды пока Со Ын летела из Токио — она видела пропущенные сразу, в аэропорту Инчхона, когда включила авиарежим обратно. Перезванивать не стала. Это было не жестокостью — это была усталость от разговоров, которые начинались с беспокойства и заканчивались советами, каждый из которых стоил денег: хороший психолог, поездка в Европу, может быть галерея в Гангнаме, там сейчас выгодные условия для молодых художников, папа может договориться.

Отец написал в восемь утра: «Деньги на счёт перевёл. Позвони маме.»

Со Ын прочла и убрала телефон.

Деньги лежали на счёте, и она о них не думала — не из принципа, просто они существовали в другом измерении, как мебель в чужой квартире.

За окном октябрьское небо было цвета застывшего молока.

Со Ын смотрела на него и пыталась понять, что именно изменилось. Что-то изменилось — она чувствовала это так же отчётливо как чувствуют перемену давления перед грозой: не видишь, не слышишь, но тело знает. Токио не дал ей того, за чем она ехала — вдохновения, толчка, ощущения что земля снова твёрдая. Токио был просто другим городом с другим воздухом, и она ходила по нему две недели как человек, который ищет что-то в комнате и не помнит, что именно.

Но что-то всё-таки произошло.

Она не сразу позволила себе думать об этом. Несколько дней после возвращения она жила по инерции — приходила в мастерскую, стояла перед рабочим столом, уходила. Заваривала чай, который остывал нетронутым. Читала — не книги, просто листала что попало, без намерения. Это была её обычная пустота, знакомая как старый шрам — неприятная, но привычная.

А потом на третий день после возвращения она проснулась в четыре утра и лежала в темноте и думала о двух ладонях, которые почти касаются.

Не о человеке. О форме. О том промежутке в сантиметр между двумя руками, который она видела в своей собственной работе три года назад и думала тогда — вот оно, вот главное. То, чего нет. Пространство между.

Она встала, оделась и поехала в мастерскую в четыре тридцать утра.

Глина была там, где она её оставила — завернутая в плёнку, немного подсохшая по краям. Со Ын размотала плёнку, отрезала кусок, положила на стол. Постояла — потом опустила руки.

Первые несколько минут — ничего. Глина холодная, молчащая, как будто не знала её рук. Она держала — просто держала, не требуя ответа. Она знала это ощущение наизусть, она с ним прожила шесть месяцев, и поэтому не убрала руки — просто держала. Ждала.

Потом что-то изменилось.

Не сразу — постепенно, как когда глаза привыкают к темноте и начинают различать контуры. Глина потеплела под ладонями — или это руки остыли до её температуры, она не могла сказать точно. Просто в какой-то момент граница между ней и материалом стала менее отчётливой. Пальцы нажали — глина поддалась. Она нажала ещё — снова поддалась. Медленно, осторожно, как разговаривают с кем-то после долгого молчания, она начала работать.

Она не знала что делает сейчас. Это было важно — не знать. Знание убивало. Шесть месяцев она приходила в мастерскую с намерением — создать форму, воплотить идею, выразить что-то конкретное — и каждый раз намерение было стеной между ней и материалом. Теперь она просто двигала руками. Просто позволяла пальцам работать не осознано.

Работала до рассвета.

Когда за окном мастерской посерело небо и первый свет лёг на крыши соседних домов, она подняла голову и посмотрела на то, что получилось. Форма была незавершённой — конечно, за несколько часов не делают законченных работ. Но она была. Вытянутая, с наклоном вперёд, с чем-то в верхней части что могло стать лицом. Или не стать — она ещё не решила.

Со Ын смыла глину с рук холодной водой. Стояла у раковины и смотрела как вода уносит серые разводы. Потом посмотрела на своё отражение в маленьком зеркале над раковиной.

Она выглядела как человек, который не спал всю ночь и которому это пошло на пользу. Телефон завибрировал на столе. Она вытерла руки, взяла.

«Ты ела сегодня?» — написал Чхе Джун Со в семь утра с точностью человека, который знал что она либо уже не спит либо не спала вовсе.

Она улыбнулась — не широко, просто уголком рта, как улыбаются, когда что-то привычное оказывается кстати.

«Нет», — написала она.

«Кафе через час», — ответил он. Не спрашивал — говорил. Это был их язык: он не приглашал, он сообщал о факте, она либо приходила, либо нет. Почти всегда приходила.

Чхе Джун Со появился в её жизни на втором курсе университета — буквально постучал в дверь её мастерской с листом бумаги и смущённым видом человека, который оказался не там где думал. Он искал кафедру биологии, промахнулся двумя этажами, увидел открытую дверь и решил спросить дорогу. Со Ын тогда стояла по локоть в гипсе и смотрела на него так, как смотрят на помеху в работе — без враждебности, просто констатация факта. Он извинился, объяснил ситуацию, она указала куда идти. Он ушёл.

Через три дня вернулся — уже намеренно — с вопросом: не согласится ли она нарисовать схему нейронных связей для его дипломной работы, потому что он сам рисует как пятилетний ребёнок и все схемы в его тексте выглядят катастрофически. Предложил оплату. Она отказалась от оплаты и согласилась из любопытства — схема нейронных связей была интересной задачей, в ней было что-то скульптурное, объёмное, про то, как одно цепляется за другое.

С тех пор прошло шесть лет.

Он был единственным человеком в её жизни, которого она не просчитывала. Не потому что он был прозрачным — Джун Со был сложным, многослойным, с той особой внутренней жизнью, которая бывает у людей привыкших наблюдать больше, чем говорить. Просто он никогда не давал ей повода защищаться. Не спрашивал о деньгах, не интересовался семьёй, не

смотрел на неё тем взглядом оценки и расчёта, который она умела читать с закрытыми глазами. Просто был рядом — ровно настолько насколько нужно, ни на миллиметр больше.

Она пришла в кафе через час — маленькое место в десяти минутах ходьбы от её квартиры, с деревянными столами и запахом корицы, который здесь был всегда, в любое время года. Столик у окна — их обычный. Джун Со уже сидел, уже заказал — перед ней стояла чашка чая с имбирём и тарелка с тостами и яйцом. Он знал, что она не ест по утрам ничего сложного.

Сам он пил кофе и листал что-то на планшете — статью, судя по виду, с графиками и таблицами. Поднял взгляд, когда она села.

Чхве Джун Со был из тех людей которых не замечаешь сразу — не потому что невзрачный, а потому что он не требовал внимания. Высокий, немного угловатый, с очками, которые он постоянно забывал снимать даже когда не читал. Лицо спокойное, с той привычной сдержанностью, которая бывает у людей, проводящих много времени в лабораториях — где главное не ты, а данные. Он умел смотреть на вещи без эмоции и с огромным интересом одновременно. Это была его профессиональная деформация и одновременно — то, что Со Ын в нём ценила больше всего.

— Ты не спала, — сказал он. Не вопрос.

— Работала.

Он поднял взгляд от планшета — полностью, что делал нечасто во время чтения. Посмотрел на неё внимательно — как смотрят на данные, которые не вписываются в привычную модель и поэтому интересны.

— Работала, — повторил он медленно. — Как работала — в смысле сидела в мастерской, или работала по-настоящему?

— Работала — работала.

Пауза. Он закрыл планшет.

— С каких пор?

— С четырёх утра.

— Нет, я имею в виду — с каких пор снова.

Со Ын взяла чашку. Чай был горячим и пах имбирём и чем-то ещё — корицей, может быть, или кардамоном. Она держала чашку обеими руками и думала, как ответить точно.

— С Токио что-то изменилось, — сказала она наконец. — Не сразу. Постепенно.

— Что именно изменилось в Токио?

Она помолчала. Джун Со не торопил — он умел ждать с той же терпеливостью с какой ждут результатов эксперимента: сколько нужно, столько и ждут.

— Я познакомилась с одним человеком, — сказала она. — Случайно. Задержка рейса, мы застряли в аэропорту.

Джун Со ничего не сказал. Взял свою чашку. Со Ын знала этот его приём — молчание как приглашение продолжать, без давления, без любопытства снаружи. Внутри — она не знала. Внутри у Джун Со всегда было больше, чем снаружи.

— Он певец, кажется. Или музыкант. Я не спрашивала. — Она пожала плечами. — Это было неважно.

— Что было важно?

Она подумала.

— То, что он разговаривал со мной как с человеком, — сказала она. — Не как с дочерью Ли Чжэ Вона. Не как с художником, у которого кризис. Просто как с человеком, который сидит рядом и у которого есть что сказать.

Джун Со поставил чашку на стол. Посмотрел в окно — на улицу, где октябрьский Сеул шёл по своим делам, равнодушный и непрерывный. Со Ын видела его профиль — прямой нос, линия челюсти, очки, чуть съехавшие набок — и думала, что он сейчас обрабатывает информацию, раскладывает по полочкам, строит гипотезу.

— Ты его больше не видела? — спросил он наконец. Голос ровный — абсолютно ровный, как всегда.

— Вчера. Он нашёл галерею — пришёл смотреть мои работы.

— Нашёл галерею, — повторил Джун Со.

— Через общего знакомого, он сказал.

— Специально искал.

— Да.

Молчание. Джун Со взял тост, откусил, медленно жевал глядя в окно. Со Ын знала, что он думает — не о тосте, конечно. Он думал о паттернах. О том что человек, который специально ищет галерею незнакомого скульптора после случайной встречи в токийском аэропорту — это определённый тип поведения с определёнными вероятными мотивами. Джун Со всё переводил в вероятности. Это было его способом справляться с миром.

— И как работы? — спросил он.

— Что?

— Как он смотрел на твои работы.

Со Ын открыла рот — и закрыла. Она не ожидала этого вопроса. Все предыдущие вопросы были о фактах — кто, где, когда, что сказал. Этот был о другом.

— Долго, — сказала она наконец. — Он стоял долго перед каждой. И когда я вошла — он смотрел на ту с отпечатками пальцев. И сказал, что она про разговор, который прервался. — Пауза. — Это точно.

Джун Со посмотрел на неё.

В его взгляде было что-то — она не успела поймать что именно, это прошло быстро как тень от облака. Потом снова обычное выражение — внимательное, спокойное, профессиональное почти.

— Значит видит, — сказал он тихо. И непонятно было — хорошо это или нет в его системе координат.

Они помолчали. За окном прошла группа школьников с рюкзаками, кто-то смеялся, кто-то толкал кого-то плечом. Обычное утро обычного дня.

— Джун Со, — сказала она.

— Что?

— Ты знаешь группу ONDO?

Он поднял взгляд от стола. Посмотрел на неё с тем выражением, которое у него означало «вопрос неожиданный — обрабатываю».

— Слышал название. Я не слежу за этим.

— Я тоже не слежу. — Со Ын взяла тост. — Просто вчера, когда возвращалась из галереи я увидела афишу их концерта. И имя там было — Хан Джэ.

Пауза.

— И? — спросил Джун Со осторожно.

— И ничего. Просто совпадение, наверное. Имя распространённое.

Она сказала это убеждённо. Она сама почти верила. Почти — потому что кое-что не давало покоя с того момента как она остановилась перед той афишей вчера вечером на выходе из переулка. Что-то в шрифте имени, в фотографии — она не успела разглядеть, просто мелькнуло — что-то неуловимое что царапнуло изнутри и не отпускало.

Она не сказала этого Джун Со.

Он смотрел на неё секунду — чуть дольше обычного. Потом кивнул.

— Распространённое, — согласился он. И открыл планшет обратно.

Они просидели ещё час — он читал статью, она ела тост и смотрела в окно и думала ни о чём конкретном. Это было их обычным форматом встреч: не обязательно разговаривать,

достаточно просто быть в одном пространстве. Со Ын ценила это в нём больше, чем многое другое — умение присутствовать без требований.

Когда она уходила он поднял взгляд от планшета.

— Со Ын, — сказал он.

— Да.

— Хорошо, что ты снова можешь работать.

Три слова. Просто три слова — без расспросов, без советов, без «я же говорил, что пройдёт». Просто констатация факта, которая почему-то ощущалась как объятие.

— Спасибо, — сказала она.

На улице она остановилась у витрины цветочного магазина — там стояли хризантемы, белые и жёлтые, поздние осенние. Она смотрела на них и думала о форме цветка — как лепестки расходятся из центра, каждый по своей траектории, и при этом всё вместе держит единую форму. Она не покупала цветов — просто смотрела. Отметила.

Вечером она снова пошла в мастерскую.

Незаконченная форма стояла на столе под влажной тряпкой — так глину хранят между сессиями чтобы не пересыхала. Со Ын сняла тряпку, долго смотрела. При дневном свете работа выглядела иначе — более конкретной и одновременно более уязвимой. Верхняя часть действительно начинала напоминать лицо. Не чьё-то конкретное — просто лицо. Высокие скулы, намёк на линию челюсти, пустые глазницы, которые она ещё не трогала.

Она обошла работу медленно, со всех сторон.

Потом взяла инструмент — узкий стек, для детальной проработки — и начала.

Работала два часа без перерыва. Руки двигались сами — она отдала им управление и просто наблюдала изнутри за тем, что происходит. Это был тот режим, который она почти забыла за полгода пустоты: когда ты не автор, а свидетель. Когда форма возникает не из намерения, а из чего-то другого, более глубокого, не имеющего названия.

Она остановилась, когда начала болеть спина.

Отошла на несколько шагов. Посмотрела.

Скулы стали чётче. Линия лба — определённое. Что-то в пропорциях, в том, как падала тень от рабочей лампы на незавершённое лицо, вдруг показалось ей знакомым — смутно, на краю узнавания, как бывает, когда видишь человека, которого встречал однажды и не можешь вспомнить где.

Она накрыла работу тряпкой.

Быстро, почти резко — как закрывают что-то чего не должны были видеть.

Потом долго стояла посреди мастерской с руками, испачканными глиной, и смотрела в стену. За окном Сеул гудел своим ночным голосом — машины, где-то далеко музыка, ветер в проводах. Обычные звуки обычного вечера.

Она не позволила себе думать о том, что видела в форме.

Не сейчас. Сейчас — важно просто то, что руки снова слышат глину. Этого достаточно. Остальное — потом, если вообще придётся разбираться с остальным.

Она вымыла руки, взяла куртку, выключила свет.

В дверях остановилась — не оборачиваясь, просто остановилась на секунду в темноте мастерской с запахом глины и сырости, и того особого воздуха, который бывает только в местах, где создают что-то из ничего.

— Токио помог, — сказала она вслух. Тихо, для себя. Или для мастерской. Или для никого. И вышла.

Глава шестая

Камбэк

Камбэк объявили в понедельник утром.

Точнее — лейбл объявил. Сам Хан Джэ узнал об этом в воскресенье вечером, на встрече с директором, где им показали финальный график: новый сингл через три недели, за ним альбом, за альбомом тур. Три месяца работы, спрессованные в один слайд с цветными стрелочками и датами, среди которых не было ни одного белого пятна, ни одного дня без пометки. Директор говорил о стратегии, о рынке, о японском и американском направлениях — Хан Джэ слушал, кивал в нужных местах и думал о том, что стрелочки на слайде выглядят уверенно, а за ними живые люди, которым нужно спать.

В понедельник в шесть утра студия уже работала.

Звукорежиссёр Ко Минсу — маленький человек с вечно красными глазами и наушниками вокруг шеи, которые он не снимал никогда, даже в столовой, — сидел за пультом и пил третий кофе, когда они вошли. Но Гёль зашёл первым, бросил куртку на диван, сел рядом с Минсу и сразу начал объяснять про третий трек — жестами, быстро, будто продолжал разговор, который шёл у него в голове всю ночь без собеседника и теперь наконец нашёл его.

— Тональность сдвигаем на полтона вниз в мосту, — говорил он. — И темп — там сейчас сто восемь, я хочу сто четыре. Дай мне почувствовать, что есть место для дыхания.

— Сто четыре — это медленно для этого жанра, — сказал Минсу.

— Именно.

Минсу посмотрел на него поверх чашки — с выражением человека, который слышит это в пятый раз, по-прежнему считает сомнительным и по-прежнему собирается сделать. Таков был их рабочий договор, негласный и нерушимый: Но Гёль говорит, что хочет, Минсу возражает ровно один раз, потом делает именно то, что просили.

Хан Джэ взял наушники, зашёл в кабину.

За стеклом оставались люди — Минсу за пультом, Но Гёль рядом с ним, кто-то из младших на диване. Он видел их, они видели его, но между ними было это стекло и эта тишина звукоизолированной кабины, и в ней он был один так, как не бывает нигде больше. Микрофон перед ним, текст в руке, голос, который должен был сделать из чужих нот что-то живое.

Первый дубль — технический, ради уровней. Второй — с намерением. На третьем Минсу нажал кнопку связи:

— Хёним, вы думаете о чём-то другом.

Не упрёк — профессиональное наблюдение. Минсу умел слышать то, что находится между нотами.

— Знаю, — сказал Хан Джэ.

— Не переживайте, — сказал Минсу. — Иногда, когда думаешь о другом, голос становится честнее, чем когда контролируешь каждую фразу. Попробуйте ещё раз — и пусть будет так.

На четвёртом дубле Минсу не останавливал запись до самого конца.

После студии — хореография. Со Чжину ждала их с новой постановкой для промо-видео: пять человек, синхрон до миллиметра, каждый переход отработан, пока не перестаёт быть выученным и не становится своим. Она показывала блок — они повторяли, она останавливала, объясняла снова. Так восемь раз, десять, двенадцать. Счёт в её голосе не прекращался ни на секунду — монотонный, точный, как метроном, который не делает скидок на усталость.

В перерыве Юн Сэ опустился на пол — не так, как валятся от изнеможения, а спокойно, устало, вытянувшись во весь рост, и обратился к потолку:

— Со Чжину-нним хочет нашей смерти. Это единственное разумное объяснение.

— Она хочет идеального синхрона, — сказал Но Гёль, сидя у стены с бутылкой воды.

— Это одно и то же, — не меняя позы, отозвался Юн Сэ.

Но даже лёжа на полу он не выпадал из общего диалога — краем глаза следил за остальными, и когда кто-то смеялся его реплике, уголок рта у него приподнимался. Тепло у него всегда пробивалось вот так, тихо, из-под усталости. Через минуту он уже сел и принялся растягиваться — методично, спокойно, каждое движение выверенное. Он говорил, что похож на старый автомобиль, которому нужно время, чтобы двигатель набрал температуру, — и в этом промежутке между холодным и разогретым был особенно сосредоточен.

Кан Ир сидел рядом и молчал тем своим особым молчанием — не пустым, а наполненным, как бывает у людей, которые думают образами, а не словами. Он иногда показывал Юн Сэ что-то в телефоне, тот смотрел и чуть заметно кивал или качал головой, не прерывая растяжки.

Потом Кан Ир встал и пошёл к зеркалу — прогонять переход. В перерыве, самостоятельно, потому что внутри него жило что-то, что не умело останавливаться, пока не получится именно так, а не примерно так. За неземной его рассеянностью пряталась эта упрямая дотошность: он повторял движение снова и снова, без аудитории, без намерения произвести впечатление — просто человек и его работа, один на один.

— Кан Ир-я, — сказал Но Гёль, наблюдавший от стены. — Правая рука на счёт три — чуть позже. Опережаешь на долю.

Кан Ир попробовал с поправкой. Кивнул своему отражению — коротко, удовлетворённо, как человек, который поймал неточность и устранил её.

Тэ Джин сидел у противоположной стены и не делал ничего видимого — просто смотрел в пространство перед собой. Хан Джэ знал этот его взгляд: он пишет. Не в телефоне и не в тетради, а там, где у него всегда шёл этот тихий и непрерывный процесс — слова искали ритм, ритм искал образ, образ искал слова. Иногда рука тянулась к телефону, большой палец быстро набивал несколько слов. Иногда — стирал. Тэ Джин был безжалостен к собственным текстам так же, как был безжалостен ко всему, что считал неточным.

Хан Джэ смотрел на них всех и думал: восемь лет. Восемь лет они делают это вместе — репетируют, записывают, выходят на сцену, возвращаются, снова репетируют. Восемь лет общей усталости и общего подъёма, и общих ночей, когда хотелось уйти, но никто не уходил. За это время он видел каждого из них на самом дне — когда тело говорило «стоп», а надо было продолжать, когда слова не шли и музыка была глухой и чужой. И видел каждого в той точке, когда всё совпадало, — когда выходишь на сцену и понимаешь, что это именно то, именно ради этого, и всё, что было до, — правильная цена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.